# Коллекция марок

Карел Чапек

— Да, это, конечно, святая правда, — сказал старый пан Карас. — Как покопаешься в своем прошлом, так и поймешь, что в нем достаточно материала для совсем других жизней. Однажды... по ошибке или по склонности... ты выбираешь одну из них и ведешь ее до конца; но хуже всего, что те, другие, те возможные жизни не совсем отошли в небытие. И порой случается, что ты ощущаешь в них боль, как в отнятой ноге.

Когда мне было лет десять, я начал коллекционировать марки; папе это не нравилось, он думал, что я из‑за этого буду плохо учиться; но у меня был товарищ Лойзик Чепелка, с которым мы и предавались филателистической страсти. Лойзик был сыном шарманщика, такой взъерошенный, как воробей, вихрастый и веснушчатый мальчишка, и я любил его, как только дети умеют любить товарища. Знаете, я старый человек, у меня были жена и дети, и я скажу вам — никакое чувство не бывает столь прекрасным, как дружба. Но на это человек способен лишь в молодости; позже он как‑то черствеет и думает больше о себе. Такая дружба рождается от чистейшего восторга и восхищения, от избытка жизненных сил, богатства и безмерности чувства; в тебе его столько, что ты должен кому‑нибудь его подарить. Мой отец был нотариус, глава местной знати, весьма почтенный и строгий господин; а я всем сердцем привязался к Лойзику, чей отец был пьяным шарманщиком, а мать — забитой прачкой, и этого Лойзу я почитал как святого, преклонялся перед ним за то, что он более ловок, чем я, что он удачливый, самостоятельный и выносливый, что нос у него в веснушках и что он мог бросать камни левой рукой, — в общем, не помню, как много всего я в нем любил; бесспорно, это была самая большая любовь моей жизни.

Так вот этот Лойзик стал хранителем моей тайны, когда я начал собирать марки. Здесь кто‑то сказал, что только мужчины понимают, что такое коллекционирование, и это верно; я думаю, в нас живет некий атавизм или инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда мужчина коллекционировал головы врагов, захваченное оружие, медвежьи шкуры, оленьи рога и вообще все, что становилось его добычей. Но коллекция марок — это не просто собственность, это — вечное приключение; ты как бы с трепетом прикасаешься к краешку далекой страны, скажем, Бутана, Боливии или мыса Доброй Надежды; просто у тебя с этими чужедальними землями возникает что‑то вроде личной, интимной связи. В общем, есть в коллекционировании марок некий мотив путешествий и мореплавания, короче, этакой всеобщей мужской тяги к приключениям. Это все равно как некогда с крестовыми походами...

Как я уже говорил, моему отцу это не нравилось; отцы обычно не любят, когда их сыновья заняты не тем, чем они сами, — я, господа, так же относился к моим сыновьям. Отцовство — вообще некое смешанное чувство; есть в нем великая любовь, но и какая‑то предвзятость, недоверие, враждебность — не знаю, как это выразить; чем больше любишь своих детей, тем сильнее это другое чувство. Короче, мне с моей марочной коллекцией приходилось прятаться на чердаке, чтобы отец ни о чем не догадался; на чердаке стоял старый ларь из‑под муки, и мы залезали в него, как два мышонка, и показывали друг другу марки: смотри, вот это Нидерланды, это Египет, и тут Swerige, то есть Швеция. И в том, что нам приходилось прятать наши сокровища, было нечто до греховности прекрасное. А добывать эти марки было еще одним приключением; я ходил по знакомым и незнакомым семьям и клянчил марки со старых писем. В некоторых домах, где‑нибудь на чердаке или в секретере, хранились полные ящики старых документов, — самые блаженные часы я проводил, сидя на полу и перебирая пропыленные кипы бумаг в поисках экземпляра, какого у меня еще не было, — видите ли, по глупости, я не собирал дубликатов; и если мне попадалась старая Ломбардия или какое‑нибудь из немецких маленьких княжеств или вольных городов — я испытывал прямо мучительную радость, — ведь всякое безмерное счастье причиняет сладкую боль. А Лойзик поджидал меня на улице, и когда я наконец выходил, то еще с порога шептал ему: «Лойза, Лойзик, там был один Ганновер!» — «Взял?» — «Ага!» И мы мчались с добычей домой, к тайнику.



В нашем городе были текстильные фабрики, выпускавшие низкие сорта джутовых, бязевых, ситцевых тканей и прочую хлопчатобумажную ерунду, все это производилось для цветных племен всего земного шара. И мне разрешили приходить на фабрики и искать марки в корзинах для бумаг; здесь были мои самые богатые охотничьи угодья: тут я находил Сиам и Южную Африку, Китай, Либерию, Афганистан, Борнео, Бразилию, Новую Зеландию, Индию, Конго, — не знаю, звучат ли еще для вас эти названия как нечто таинственное и желанное. Господи, какая радость, какая невероятная радость найти марку хотя бы из Straits Settlements.[[1]](#footnote-1) Или — Корея, Непал! Новая Гвинея! Сьерра‑Леоне[[2]](#footnote-2)! Мадагаскар! Послушайте, такой восторг может понять только охотник, искатель кладов или археолог среди своих раскопок. Искать и найти — вот величайшее напряжение и удовлетворение, какое только может дать человеку жизнь. Каждому человеку следовало бы что‑нибудь искать, — если не марки, то — истину или волшебный цвет папоротника, а то хотя бы каменные наконечники стрел и урны.

Да, это были прекраснейшие годы моей жизни, когда я дружил с Лойзиком и собирал марки. Но вот я заболел скарлатиной, и Лойзика не пускали ко мне, хотя он торчал у нас в коридоре и насвистывал, чтобы я его слышал. Как‑то раз за мной не уследили, что ли; в общем, я удрал из постели и — шасть на чердак посмотреть свои марки. Я так ослабел, что с трудом поднял крышку ларя. Но ларь был пуст; коробка с марками изчезла.

Я не в силах описать вам мою боль и ужас. Вероятно, я стоял там, словно окаменев, и не мог даже плакать, так у меня сжалось горло. Во‑первых, ужасно было потерять марки, мою величайшую радость; но еще страшнее было сознание, что, воспользовавшись моей болезнью, их, наверное, украл Лойзик, мой единственный друг. То был ужас, разочарование, отчаяние, скорбь, — знаете, просто поразительно, до чего сильны переживания ребенка. Как я спустился с чердака, я уже не помню; только после этого я снова слег, метался в жару, а в минуты облегчения все думал, думал... Ни отцу, ни тете я не сказал ни слова — матери у меня уже не было; я знал, что они совершенно меня не понимают, и это как‑то отдаляло меня от них, — с того времени я уже никогда не питал к ним горячей детской привязанности. Измена Лойзика оказалась для меня чуть ли не смертельным ударом; это было мое первое и самое страшное разочарование в человеке. Нищий, говорил я себе, Лойзик — нищий и поэтому ворует; вот тебе за то, что ты дружил с нищим. Это ожесточило меня; с тех пор я стал делать различия между людьми — я утратил состояние социальной невинности; однако тогда я не понимал еще, сколь глубоко было потрясение и сколь многое во мне рухнуло.

Пересилив болезнь, я пересилил и боль от потери марочной коллекции. Только еще кольнуло в сердце, когда я увидел, что Лойзик тем временем завел новых товарищей; но, когда он прибежал ко мне, слегка смущенный после долгой разлуки, я сказал ему сухо и по‑взрослому: «Катись, я с тобой не разговариваю!» Лойзик покраснел и не сразу ответил: «Ну и ладно!» С того времени он упорно, по‑пролетарски ненавидел меня.

Именно это событие и повлияло на всю мою жизнь, на мой выбор жизни, как выразился бы пан Паулюс. Мой мир, если можно так сказать, был осквернен, я перестал доверять людям; научился ненавидеть их и презирать. Больше не было у меня друга; и когда я стал взрослеть, то начал даже гордиться тем, что мне никто не нужен и я никому ничего не прощаю. Потом я стал замечать, что меня никто не любит, и сам тоже стал презирать любовь и всякие сантименты. Так и вышел из меня высокомерный, честолюбивый, педантичный — одним словом, корректный человек; к подчиненным я относился зло, без жалости, женился без любви, детей воспитывал в трепете и страхе и своим прилежанием и добросовестностью добился немалых успехов. Такова была моя жизнь, вся жизнь; я не уделял внимания ничему, кроме своих обязанностей. И когда я почию в бозе, в газетах напишут, какой я был заслуженный работник и примерный человек. Но если бы люди знали, сколько во всем этом одиночества, недоверия и ожесточенности...

Три года назад умерла моя жена. Я не признавался ни себе, ни людям, но мне было невыносимо грустно; и от тоски я начал перебирать семейные реликвии, оставшиеся после отца и матери: фотографии, письма, мои старые тетради... У меня перехватило горло, когда я увидел, как заботливо мой строгий отец все это складывал и сохранял; вероятно, он все‑таки любил меня. Этими вещами был забит целый шкаф на чердаке; и на дне одного ящика я нашел шкатулку, запечатанную печатями отца; я открыл ее — в ней лежала та самая коллекция марок, которую я собирал пятьдесят лет назад.

Не буду скрывать — у меня ручьем хлынули слезы, и эту шкатулку я отнес в свою комнату как некое сокровище. Значит, *вот как было дело* , понял я тогда. Значит, когда я болел, кто‑то нашел мою коллекцию, и отец ее конфисковал, чтобы я из‑за нее не запускал учебу. Ему не следовало этого делать; но и тут сказалась его строгая забота и любовь; не знаю отчего, но мне стало жаль и его и себя.

А потом пришла мысль: значит, Лойзик не крал этих марок. Господи боже, как я был к нему несправедлив. И встало передо мной лицо этого веснушчатого и вихрастого уличного мальчишки, — бог весть, что с ним случилось, и жив ли он еще!

Ах, как мне было мучительно стыдно, когда я все это восстанавливал в памяти. Только из‑за несправедливого подозрения я потерял единственного товарища, — из‑за этого я лишился детства. Стал презирать бедных, вел себя высокомерно, — поэтому я уже ни с кем близко не сошелся. По одной только этой причине я всю жизнь не мог смотреть на почтовые марки без неприязни и отвращения и никогда не писал писем своей невесте, а затем жене, маскируясь тем, что стою выше проявления чувств; и моя жена страдала от этого. Вот почему я был так жесток и замкнут. Поэтому, только поэтому я сделал такую карьеру и столь образцово выполнял свои обязанности...

— Я пересмотрел всю свою жизнь, и вдруг она показалась мне пустой и бессмысленной. Ведь я мог жить совершенно иначе — пришло мне в голову. Если бы этого не случилось, — ведь во мне было столько жару и любви к приключениям, столько страсти и благородства, фантазии и доверчивости, столько удивительных и могучих дарований. Боже мой, да я мог быть совсем другим человеком — путешественником, актером или военным! Я мог любить людей, выпивать с ними, понимать их, мало ли что еще! Во мне словно таял некий лед. Я перебирал марку за маркой. Здесь были все они — Ломбардия, Куба, Сиам, Ганновер, Никарагуа, Филиппины, — все страны, в которые я тогда хотел поехать и которых уже не увижу. В каждой марке заключалась частица того, что могло быть и чего не случилось. Я просидел над ними всю ночь и судил свою жизнь. Я видел, что это была какая‑то чужая, искусственная, безличная жизнь, а моя настоящая жизнь так и не осуществилась... — Пан Карас махнул рукой. — Как подумаю, чем только я мог стать и как я был несправедлив к Лойзику...

Слушая эту речь, патер Вовес вконец опечалился и разжалобился, — скорее всего, тоже вспомнил что‑нибудь из собственной жизни.

— Пан Карас, — сказал он растроганно, — не стоит об этом думать, — что толку, теперь уж поправить ничего невозможно, невозможно начать жизнь сызнова...

— Невозможно, — вздохнул пан Карас, слегка покраснев. — Но знаете, по крайней мере, — по крайней мере, я снова начал собирать марки!

1. Straits Settlmets — Стрейтв‑Сетлметс (англ.: поселения у приливов), до 1946 г. английская колония в юго‑восточной азии. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сьерра‑Леоне — бывшая британская колония в западной Африке, ныне республика, входящая в состав Британского содружества наций. [↑](#footnote-ref-2)